

Прочтения

Георгий Куницын «Крестная няня» Б. Пастернака¹

Georgy Kunitsyn
Boris Pasternak's God-Nanny

Георгий Куницын (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», аспирант) georg2399@yandex.ru.

Georgy Kunitsyn (Graduate student, HSE University) georg2399@yandex.ru.

Ключевые слова: крещение, Б.Л. Пастернак, жизнетворчество, агиография, христианство

Key words: christening, Boris Pasternak, life creation, hagiography, Christianity

УДК: 82-6+7.046.3
DOI: 10.53953/08696365_2023_180_2_252

UDC: 82-6+7.046.3
DOI: 10.53953/08696365_2023_180_2_252

Статья посвящена биографической проблеме крещения Б. Пастернака. На основании анализа источников делается предположение, что эпистолярные и устные свидетельства поэта можно рассматривать как элементы построения автобиографического мифа. На материале эпистолярных и поэтических высказываний Пастернака 1940—1950-х годов обнаруживается последовательное обращение поэта к теме мученичества, которую можно расценивать как одну из составляющих стратегии саморепрезентации автора. Таким образом, легенду о крещении во младенчестве предлагается рассматривать в контексте агиографической литературы.

The article is devoted to the biographical problem of Boris Pasternak's christening. Based on an analysis of sources, it is suggested that the poet's epistolary and oral testimonies can be considered as elements of the construction of an autobiographical myth. In Pasternak's epistolary and poetic utterances of the 1940s and 1950s, the poet's consistent appeal to the theme of martyrdom can be observed, which can be regarded as one of the components of the author's self-presentation strategy. Thus, the legend of baptism in infancy is proposed to be considered in the context of hagiographic literature.

1 Статья написана на основе доклада ««Крестная няня» Б. Пастернака», прочитанного на конференции «Гаспаровские чтения» в РГГУ 24 апреля 2022 года. Обзор конференции см. в разделе «Хроника научной жизни» в этом номере.

Вопрос о том, был ли Борис Пастернак крещен, представляет одну из наиболее интригующих и дискуссионных загадок его биографии. Так или иначе, всем биографам поэта приходилось отвечать на этот вопрос. В частности, А.Ю. Сергеева-Клятис предполагает, «как это делал сын поэта, Е.Б. Пастернак» [Сергеева-Клятис 2015: 27], что крещение было, Кристофер Барнс допускает, что крестильная история могла быть «личной фантазией, укоренившейся в детстве»² [Barnes 2004: 13], а Д.Л. Быков склоняется к тому, что крещения не было, но отмечает важность того, «что сам Пастернак считал себя крещеным и мерил себя этой меркой с младенчества» [Быков 2018: 23].

Нам не известно ни одной работы, в которой эта проблема получила бы всестороннее осмысление. Мы постараемся не только проанализировать источники, но и рассмотреть их с точки зрения построения автобиографического мифа, в контексте изучения эволюции религиозных воззрений Бориса Пастернака и его поэтики.

Итак, как можно заметить по письму Пастернака отцу из Марбурга 1912 года, по крайней мере в это время поэт считал (или находил нужным соглашаться в этом с отцом) крещение (= «избавление») недопустимым для себя шагом:

...он прав: ни ты, ни я — мы не евреи: хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несем все, на что нас обязывает это счастье (меня, например, невозможность заработка на основ[ании] только того факультета, который дорог мне), не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но несколько от этого мне не ближе еврейство [Письма Бориса Пастернака... 1990: 63].

Нет никаких доказательств неискренности изложенной в письме позиции. Более того, хотя очевидно, что историческая ситуация изменилась и после установления советской власти и начала гонений на церковь крещение перестало быть «избавлением», нет никаких доказательств того, что Пастернак передумал и решил принять таинство.

Собственно, существует всего два документа, свидетельствующих о якобы произошедшем задолго до письма к отцу «избавлении». Один из них — известнейшее письмо Пастернака к французской славистке и переводчице Ж. де Пруайяр, датированное 2 мая 1959 года, в котором поэт, по какой-то причине решивший не писать напрямую, отвечает на письмо другой своей французской корреспондентки, Э. Пельтье, среди прочего задавшей ему «очень деликатный вопрос: как, начиная с юности, развивались Ваши мысли о христианстве?» [Переписка Бориса Пастернака... 1997: 129]. На время оставляя в стороне проблему двойной адресации при ответе на «деликатный вопрос», мы позволим себе процитировать его:

Она хотела также знать время моего обращения. Я был крещен своей няней в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались евреи, и к тому же в семье, художественными заслугами отца избавленной от них и пользовавшейся опреде-

2 Перевод наш. В оригинале: «...a private fantasy which took root during his childhood» [Barnes 2004: 13].

ленной известностью, — это вызывало некоторые осложнения и оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычкой. В этом, я думаю, — источник моего своеобразия. Христианский образ мысли сильнее всего владел мною в 1910—1912 годах, когда закладывались основы моего своеобразного взгляда на вещи, мир и жизнь. Но об этом в другой раз, или, вернее, не будем об этом говорить вовсе. Намекните на это Элен, и пусть об этом никому больше не будет известно. Мне и без того хватает сложностей. Меня почти со всех сторон спрашивают о моих убеждениях и мнениях по поводу чуть ли не всего на свете и не хотят верить, что у меня нет никаких, и они для меня ничего не значат. Ибо «мнение» о Святом Духе ничего не стоит по сравнению с его собственным присутствием в произведении искусства, с чего начинается великое и чудесное. Однако вернемся к этому в следующий раз... [Пастернак 2003—2005: X, 472].

Второй известный нам документ, подкрепляющий слова Пастернака о загадочном крещении «в младенчестве», — воспоминания Е.А. Крашенинниковой, поклонницы поэта, познакомившейся с ним в попытке найти адрес Цветаевой и заинтересовавшей его (как она сама об этом повествует) своим желанием жить «под водительством Афродиты Небесной» [Крашенинникова 1997: 205]. Крашенинникова пересказывает слова Пастернака в воспоминаниях, опубликованных спустя более чем пятьдесят лет после описываемых событий:

«Видите ли, я тоже в пять лет полюбил Христа по рассказам няни, но я был не крещен. Решили, что она потихоньку от моих родителей отведет меня в церковь и окрестит, так как они могут не разрешить. А дальше — что Бог даст, может быть, и они станут христианами. Сразу же после крещения я причащался, и моему восторгу не было конца. Как и у вас с братом... Каждое слово богослужения казалось мне непревзойденным, из-за формы: смысл и слово совпадали; я как губка все впитывал. Няня считала, что это Ангел Хранитель помогает мне все запоминать. Я и сейчас все прекрасно помню». И он прочел молитвы перед причастием очень выразительно... [Там же: 206].

Описываемый разговор Крашенинникова относит к 1941 году, времени ее знакомства с Пастернаком. Однако в ее «Крупницах о Пастернаке» [Там же: 204—213] находится место и еще одному существенному для нас эпизоду, который она датирует концом 1958 года, когда она была «срочно» вызвана на дачу в Переделкине, где Пастернак якобы сообщил ей недавно поставленный диагноз и просил устроить ему исповедь («почти за всю жизнь, с одиннадцати лет») и причастие:

Не откладывая, мы сразу сговорились когда, но в назначенное утро у мамы был сердечный приступ, и я не могла отойти от нее. Из-за этого опоздала и приехала в Переделкино в половине одиннадцатого. На террасе допивали чай. Я смущенно извинилась. Зинаида Николаевна предложила чаю и ушла. Я как-то неуверенно глотала чай. Борис Леонидович, посмотрев внимательно на меня, вдруг начал не спеша и подробно рассказывать о своем крещении, как будто это было вчера. Он рассказывал снова об этом, так как находился под впечатлением написанного им недавно письма к Жаклин де Пруайяр, в котором он сообщил о своем крещении в детстве для официального ознакомления с этим фактом Элен Пельтье, друга и издателя, и Жаклин, и Бориса Леонидовича. Почему-то ему захотелось поговорить снова об этом событии детской жизни... [Там же: 210].

Конечно, Крашенинникова не уточняет, сколько времени прошло между разговором о диагнозе и очередным рассказом Пастернака о крещении. Однако она не могла не знать (тем более что в тексте прямо ссылается на публикацию), что письмо к де Пруайяр датируется 2 мая 1959 года. Таким образом, следует предположить, что «в конце 1958 года» Пастернак, узнав о смертельной болезни, договорился об исповеди, которая должна была бы иметь место через целых четыре (по меньшей мере) месяца, причем «сговорился», «не откладывая», «сразу». Разумеется, все эти конструкции, призванные отобразить стремительность решений человека, узнавшего о скорой неминуемой смерти, скорее прочитываются так, словно между разговором и «назначенным утром» должно было пройти гораздо меньше времени.

Более того, мы едва ли можем предположить, что Пастернак, — неоднократно оговаривающийся в письме к де Пруайяр, что не хочет, чтобы кто бы то ни было еще знал о его крещении («пусть об этом никому больше не будет известно» [Пастернак 2003—2005: X, 472]), что самому ему не хочется рассуждать о становлении его христианских воззрений («но об этом в другой раз, или, вернее, не будем об этом говорить вовсе» [Там же]), что он устал от постоянных вопросов такого рода, — стал бы «под впечатлением» собственного письма заново рассказывать Крашенинниковой историю своего крещения. Скорее, кажется уместным предположить, что воспоминание Крашенинниковой, записанное, как уже отмечалось, спустя почти сорок лет после описываемых событий, — результат знакомства писательницы (автора художественной «повести об идеях Федорова» [Крашенинникова 1997: 212]) с письмом Пастернака к де Пруайяр и сознательного или неосознанного монтажа текста письма с какими-то реальными воспоминаниями о встречах с поэтом в эти годы.

Нельзя не заметить, что общая тональность воспоминаний Крашенинниковой представляет автора не просто как младшую поклонницу или подругу поэта, но как его конфиденанта и даже наставника в религиозных исканиях, если угодно, духовника. Первое же предложение «Крупиц...» задает им именно это направление: «Как говорил Борис Леонидович, наша дружба возникла “по судьбе”, из-за сходных переживаний веры в детстве...» [Там же: 204]. Далее, описывая свой первый большой разговор с Пастернаком, она «удивляет» его своими познаниями о «тайном постриге» и «обручничестве», о которых он «ничего не знал» [Там же: 205]. Более того, если верить воспоминаниям, пятидесятидвулетний поэт при первом же разговоре вполне серьезно спрашивает у двадцатидвулетней поклонницы: «Откуда взять веру?» [Там же] и получает, разумеется, не лишенный наставительности ответ, который его «взволновал» [Там же: 206]. За откровением о крещении во младенчестве, Пастернак, следуя тем же «Крупицам...», еще и читает едва знакомой девушке молитвы перед причастием.

Понятно, что после такого знакомства следуют частые разговоры об «огне Логоса», творчестве (в метафизике, которого автор мемуаров понимает Пастернака, несомненно, лучше, чем его жена, равно как и в вопросах религиозного характера³) и, в конце концов, о Федорове, чью «Философию общего дела»

3 Ср.: «Он читал ей псалмы из Псалтыри и самые поэтические книги из Ветхого Завета, цитировал на память стихиры, тропари и тому подобное из христианского богослужения, но не смог добиться того, чтобы она почувствовала это своим, необходимым ей, миром жизни...» [Крашенинникова 1997: 209].

Крашенинникова подарила поэту в их вторую встречу [Там же: 204—209]. Более того, Пастернак, будто бы «подводя итог» их «общим раздумьям над Федоровым», открывает поклоннице план написать роман, где «архетипом будет Христос» [Там же: 207—208]. Представлено это в мемуарах именно как следствие «общих раздумий» над «общим делом», то есть читатель должен понять, кому на самом деле мы обязаны замыслом и появлением «Доктора Живаго». Что же касается имени главного героя — тут нет никаких оговорок, «чтобы умерить» «боль разлуки» Крашенинниковой с ее погибшим братом Георгием, Пастернак «сказал, что герой его романа будет наречен Юрой» [Там же: 208].

Не удивительно, что Крашенинникова совершенно случайно застаёт Пастернака в последние дни его жизни и, так как «Зина не разрешает пригласить священника», именно ей он в последний раз исповедуется и поручает похоронить себя «как положено православному христианину» [Там же: 211] — да еще и «громко» просит З.Н. Пастернак и Н.А. Табидзе помочь ей в этом. Таким образом, автор воспоминаний оказывается своеобразной душеприказчицей великого поэта, человеком, которому единственному он может доверить свою смерть. Эта его просьба окажется невыполненной, потому что, как замечает Крашенинникова, «на крыльцо вышла Нина Табидзе и сказала мне, что они с Зинаидой Николаевной упросили Бориса Леонидовича разрешить им не ставить его в церковь. Отпоют заочно...» [Там же] — «Может быть, Борис Леонидович согласился потом с ее (З.Н. Пастернак. — Г.К.) просьбой не ставить его в церковь? И я промолчала» [Там же: 212].

Более того, согласно воспоминаниям Крашенинниковой, в день смерти Пастернака Н.А. Табидзе не хотела впускать ее в дом — что, впрочем, вполне правдоподобно, учитывая напряженные отношения З.Н. Пастернак с кругом «молоденьких девушек из Скрябинского музея» [Пастернак 1993: 344]. В воспоминаниях З.Н. Пастернак находим:

За неделю до смерти Боря хотел попросить Катю Крашенинникову устроить отпевание на дому. Но я сказала, что обойдусь без Кати, и обещала ему позвать хоть самого патриарха. Я была настроена против Крашенинниковой: она, как оказалось, распускала слухи, будто за два-три месяца до болезни Боря якобы был у врача, который сделал ему рентген и прямо в глаза сказал, что у него рак легкого. Это была явная ложь. <...> Я не переставала удивляться, как Крашенинникова, зная о таком серьезном диагнозе, ничего не сообщила ни мне, ни детям. Мало ли, что можно было в таком случае предотвратить. С этих пор я просила не пускать в дом эту «богородицу». Она вечно носилась с иконами, часто бывала в церкви, но не останавливалась перед самым большим грехом — ложью... [Там же: 393].

Очевидно, что откровенные попытки Крашенинниковой, цитируя З.Н. Пастернак, «приписать себе важную роль» в творчестве и религиозной жизни Пастернака, ее увлечение мистицизмом⁴, настороженное отношение к ней и ее кругу самого Пастернака⁵, явное знакомство с письмом к де Пруайяр — существ-

4 Ср.: «Уже после смерти Бори Асеев рассказал мне, что эти девушки составляли целое общество поклонения Христу в Борином образе»; «...одна писала, что может родить Христа только от Бориса Леонидовича» [Пастернак 1993: 345].

5 Ср.: «Ему мешали работать, подчас он на них сердился и выставлял меня, как чербера, охранять его от их визитов»; «он иногда говорил, что у него мозги от них высыхают» [Пастернак 1993: 345—346].

венно дискредитируют ее воспоминания о якобы рассказанной истории крещения. Даже если предположить, что Пастернак рассказал ей ту же историю, что и де Пруайяр, нам не следует исключать вероятности, что он просто не хотел вдаваться в теологически-мистические дискуссии о таинствах, Скрыбине, Федорове и тому подобном.

Отчасти то же объяснение, как нам кажется, вполне применимо к письму Пастернака французским корреспонденткам. Уже подчеркнутая нами дерганая, неуверенная манера письма, избыточное оговорками, настойчивый интерес Э. Пельтье к «христианству» Пастернака⁶, двойная адресация письма (видимо, означающая нежелание писать отдельный подробный ответ Пельтье и/или раздражение против последней), постоянное давление воцерковленных поклонниц после издания «Доктора Живаго» — факторы, вынуждающие предположить, что история крещения, описанная Пастернаком в письме к де Пруайяр и Пельтье, имела прагматический смысл избавить ее автора и главного героя от дальнейших расспросов и объяснений, навязчивого волнения поклонников о перспективах его вечной жизни.

Наиболее существенным доказательством нашей гипотезы видятся еще одни мемуары, принадлежащие жене Станислава Генриховича Нейгауза, Галине Сергеевне Нейгауз, которая, выйдя замуж за сына жены поэта в 1946 году, практически постоянно жила с Пастернаком в одном доме, в отличие от Е.Б. Пастернака, Крашенинниковой и тем более французских приятельниц поэта. В ее воспоминаниях «Борис Пастернак в повседневной жизни» находим следующий пассаж:

Были у нас и душевные разговоры, и, по-моему, Пастернак с удовольствием отвечал на мои расспросы. Как-то я спросила — крещен ли он и верит ли в Бога? Борис Леонидович ответил, что не крещен, но это не имеет никакого значения, так как крещение только форма; в Бога же верит, как во что-то совершенное и непостижимое человеческим разумом, а смерть — это не конец, а только переход из одного состояния в другое, и поэтому она ему не страшна. «Свое отношение к религии я выразил в “Докторе Живаго”», — сказал он... [Пастернак 2003—2005: XI, 561].

Любопытно, как этот эпизод комментирует Е.Б. Пастернак:

-
- 6 Согласно воспоминаниям Э. Пельтье, она начала свой «допрос» при первой же встрече: «Да, стихи Бориса Пастернака связывали с самыми корнями русской христианской жизни. Я так ему и сказала» [Переписка Бориса Пастернака... 1997: 110], — и продолжила тем самым вопросом, ответом на который и стало письмо к де Пруайяр: «Мне хотелось бы задать Вам также более деликатный вопрос: как, начиная с юности, развивались Ваши мысли о христианстве? И та интуиция, которой Вы обладаете, когда говорите о самом духе христианства: обещании новой жизни, предлагаемой Христом. Вы выражаете это с такой поэтичностью! Это потрясающе. Я хотела бы задать Вам 1000 вопросов, но они излишни» [Там же: 129]. Обратим внимание также на то, как она вспоминает о смерти Пастернака: «Я сообразила, что умер он именно в неделю Вознесения, и мне стало легче на душе. Помню, как я говорила об этом с моим мужем. Через несколько дней, может быть, под влиянием моего настроения, мой муж решил, что сделает скульптуру Вознесения из мрамора, и нарисовал проект: три апостола держатся крепко за Христа, который возносится на небо. Не хотят они, чтоб Он их покинул, а Христос все понимает и смотрит на них с любовью. Таким образом, благодаря Борису Леонидовичу таинственной встречей установилась связь между русским писателем и польским скульптором» [Там же: 143]. Муж Э. Пельтье — знаменитый польский скульптор Август Замойский.

Крещение для Пастернака было темой глубоко личной. Известно, что лишь с Ж. де Пруайяр и Е.А. Крашенинниковой он откровенно обсуждал такого рода вопросы; свидетельства тому сохранились в письме Пастернака от 2 мая 1959 г. к Пруайяр и воспоминаниях Крашенинниковой. <...> Он был крещен в детстве тайно, и дома об этом не знали. Крестила его няня, глубоко религиозная крестьянка Акулина Гавриловна Михалина, сумевшая своими рассказами и совместными посещениями церкви пробудить у мальчика горячую любовь к Христу и желание причащаться. Это событие отразилось в воспоминаниях Юрия Живаго о нянюшке и детском восприятии Бога. «Сходные переживания веры в детстве» легли в основание многолетней дружбы Пастернака с Е.А. Крашенинниковой, которая передала его предсмертную исповедь своему духовнику о. Николаю Голубцову. Формальная сторона дела не интересовала Пастернака: «правильное» ли было то крещение, «полное» или нет, — было для него не существенно, что давало определенную свободу в разговорах на эту тему (например, с Г. Нейгауз)... [Там же: 815].

Совершенно непонятно, на основании чего Евгений Борисович полагает, что Крашенинникова или Пруайяр были для Пастернака более близкими людьми, чем «невестка». Тем более неясно, как может «определенная свобода в разговорах на эту тему» выражаться в столь категоричной форме («Борис Леонидович ответил, что не крещен»). Так или иначе, мы не можем не заметить, что Е.Б. Пастернак, очевидно, узнал о «тайном крещении» отца из письма к де Пруайяр и мемуаров Крашенинниковой, а потому едва ли может претендовать на какую-то особую осведомленность в этом вопросе, позволяющую в рамках академического комментария дезавуировать свидетельство, насколько нам известно, ничем не заслужившего недоверия мемуариста.

Надо сказать, история о крещении Пастернака вызывала недоверие и у других близких к поэту людей. К примеру, С.П. Бобров, «сотоварищ ранних моих (Б.Л. Пастернака. — Г.К.) дебютов»⁷, с которым поэт близко дружил в молодости и переписывался с 1913 по 1956 годы, прямо писал Е.Б. Пастернаку в 1964 году, что, ознакомившись с книгой Ж. де Пруайяр о Пастернаке (Proyart de J. Pasternak. Paris: Gallimard, 1964), «препротивной книжонкой», остался очень недоволен тем, как

под прозрачной дымочкой всякой «эстетики» расцвела такая развесистая клякwa насчет твоего (Е.Б. Пастернака. — Г.К.) покойного батюшки, что лучше и не придумаешь... <...> Мало того, что она там пишет всякую дребедень (прибавляя мне 9 лет возраста, чтобы было можно объяснить мое «влияние»!), просто *не зная* ничего толком о юности Бори, но самая махровая дичь — это глупенькая басня о «тайном крещении» Бори! Эти сказочки можно рассказывать только тем людям, которые полувеком отделены от обычаев и устоев (и законоположений совершенно официальных!) русского царского православия. Крещение — это *обряд*, вполне точного исполнения, связанный с казенными царскими записями в шнуровых книгах церквей, которые выполняли в царской России роль совершенно официальных теперешних загсов. Обряд совершает не один поп, но с причтом, с восприемниками (крестными отцами и матерями), которые являются *казенными свидетелями* крещения и отмечаются совершенно по форме (с указанием чина,

7 Из автобиографического очерка Пастернака «Люди и положения» (1959). Цит. по: [Пастернак 2003—2005: III, 317].

«титularный советник такой-то» и пр.). Ни один поп в Москве (в столице) ни за какие деньги не стал бы крестить еврейского мальчика, ибо из этого мог бы выйти совершенно грандиозный скандал, донесись хотя бы тень этого слуха до богатой и влиятельной московской еврейской общины. Рисковать всей карьерой из-за такой пренелепой с тогдашней точки зрения выдумки ни один поп не стал бы. Этот рассказик годится для романчиков в стиле Монте-Кристо, не более того. Все сказки о том, что Боря чуть ли не с 1910 года был мистиком и зачитывался Библией, — это чушь невыносимая, ведь наша «Центрифуга» была бунтом и бегством именно *от мистики* Мусагета, и компании Дурылина — Анисимова — Станевич, наших бывших друзей, погрязших в теософии и слюнявеньком православизме! Зачем Боре нужно было эту чепуху рассказывать, поверить странно и понять нельзя. Разумеется, это была просто *фронда* и какой-то невероятный загиб, когда уж человек сам перестает понимать, что он плетет. Выдумка о тайном крещении просто подчеркивает, что автор ее — русских церковных обычаев не знал. Вот и все. Но все это можно было бы рассматривать просто как невероятное чудачество вроде «творимой легенды», если бы это *не чернило память Бори* в глазах современности, а то ведь у нас найдутся умники, которые будут эту «поэму» поддерживать из целей, прямо противоположных целям госпожи Депруайяр. Семья Борина была семья интеллигентная, где к религии относились с прохладцей, не придавая ей ни малейшего значения (хотя и не желая ссориться с ней и вообще с ней связываться), сам Боря над чудачествами верующих интеллигентов посмеивался откровенно, ничего в этом, кроме барских выдумок, не видя. <...> Такой поэт был — на загляденье! Такой талант! И вот теперь из него какого-то «монашка» юродивого на Западе делают [Борис Пастернак в письмах 2021: 93—96].

Понятно, что аргументы Боброва, касающиеся порядков в Российской империи, легко отменяются современными комментаторами, полагающими, что крещение могло быть «совершено дома верующей няней Акулиной Гавриловной», поскольку, как известно, «в особых обстоятельствах... крещение мог совершать мирянин» [Там же]. В таком случае, как нам кажется, возникает очевидный вопрос — почему других детей Пастернаков та же самая няня, угощая просвирами, «много беря их в церковь» [Пастернак 2013: 214], *не* крестила? Сестры Пастернака, по свидетельству одной из них, так же, как и Бобров, не могли поверить в «крестильную» историю:

Но крестить «тайно»? Вот это и Лидочке и мне кажется странным, невероятным. Неужели ни родители, ни Шурочка об этом ничего не знали? Между тем Боря пишет об этом в письме Prouart, не станет же он лгать. Это мне непонятно. Да и не важно. Я уверена, что в эти последние годы Боря совершенно искренне примкнул к христианству [Там же: 214].

Таким образом, по крайней мере, четверо из гораздо более близких Пастернаку, чем Крашенинникова, Пельтье или де Пруайяр людей — друг юности Бобров, сестры, невестка либо прямо свидетельствуют против истории крещения, либо выражают серьезные сомнения по этому поводу. Позволим себе предположить, что письмо к де Пруайяр, в котором Пастернак ясно пишет, что рассказанное не должно стать достоянием широкой общественности, да еще и сразу же опровергает саму значимость обрядов и формальностей, — не может рассматриваться как абсолютно достоверное автобиографическое свидетельство.

Скорее следует вслед за С.П. Бобровым предположить, что перед нами «творимая легенда» (Бобров здесь, очевидно, намекает на трилогию Ф.К. Сологуба) или, выражаясь языком Ходасевича, акт «жизнетворчества». При этом нельзя не учитывать то, чего Бобров не знал, — Пастернак мог рассчитывать, что де Прауйяр прислушается к его просьбе и не станет разглашать содержание письма никому, кроме Пельтье. Соответственно, «легенда» не смогла бы «очернить память» Пастернака «в глазах современности».

С другой стороны, быть может, следует также предположить, что Пастернак изначально понимал, что письмо рано или поздно будет опубликовано, что его просьба будет проигнорирована или интерпретирована адресатом как «пожизненная». Однако даже в этом случае мы едва ли можем с уверенностью предположить, что рассказанное в письме — правда. Против этого свидетельствуют близкие Пастернака, алогичность того, что его братья и сестры остались некрещеными, и, в конце концов, аргумент, постоянно игнорирующийся «защитниками» крещения, — подчеркнутая литературность этой истории.

Так или иначе, при исследовании эволюции религиозно-эстетических, философских воззрений поэта мы, не отрицая сомнительной возможности того, что эта история хотя бы отчасти правдива, не можем не попытаться взглянуть на нее как на элемент построения автобиографического мифа. В этой перспективе не так важно, рассчитывал ли Пастернак на то, что письмо будет опубликовано, или сконструировал «легенду» для узкого употребления своими французскими корреспондентками. В любом случае были задействованы творческие механизмы, обнажение которых позволит нам конкретизировать возможное положение церковных таинств в системе философских представлений поэта об искусстве и художнике.

Так, «няня-крестительница» вне всяких сомнений отзывается в русской культуре мифологией «литературных нянь». Центральный персонаж здесь, очевидно, Арина Родионовна, «голубка дряхлая» [Пушкин 1977: 315] и «добрая подружка» [Там же: 258], но ею, разумеется, список не исчерпывается. В спектре этой мифологемы находятся и няни Достоевского (Алена Фроловна), Гончарова (Аннушка), Ходасевича (Елена Кузина), которой посвящено стихотворение «Не матерью, но тульской крестьянкой», и многие другие. Функционально при естественной разности нюансов для каждой из этих пар няня оказывается носителем фольклоризированной религиозной культуры, а юный гений — реципиентом, воспринимающим ее для того, чтобы впоследствии инкрустировать свое «возвышенное» творчество элементами «народного».

Любопытно, что обозначенная мифология очень интересовала, а в каком-то смысле и развивалась одним из старших друзей Пастернака, С.Н. Дурьлиным, в архиве которого сохранилась папка «Няни». Как утверждает В.Н. Торопова, исследовательница наследия писателя, «он собрал в нее только малую часть материалов, но подложил список авторов, чьи мемуары хотел бы видеть в будущей книге» [Торопова 2017: 11]. Нам не известно никаких доказательств того, что Дурьлин мог делиться своими соображениями о роли нянь в истории русской культуры и педагогики с Пастернаком, однако это вполне представимо. Среди публицистики первого находим, к примеру, следующий пассаж:

...русская няня в религиозном, нравственном, эстетическом развитии русского человека имела несравненно большее значение, чем сотни всяких педагогов, публицистов, проповедников и т.д. [Там же: 10].

Так или иначе, мифология русского гения, по крайней мере в литературном поле, неизменно завязана вокруг фигуры Пушкина, а значит, и няни с ее «песнями» [Пушкин 1977: 258]. Ясно, что «народное» в какой-то мере эквивалентно «православному», и знакомство с фольклорной культурой для Пушкина, как автобиографический конструкт, вполне соответствует приобщению к православной культуре для Пастернака. В том и в другом случае поэт — носитель высокой, европеизированной (в случае Пушкина), интеллигентской, светской (в случае Пастернака) — культуры соприкасается в детстве с принципиально иным миром, и это столкновение многократно увеличивает творческий потенциал будущего художника. Отчасти тот же конструкт используется Пастернаком в автобиографическом очерке «Люди и положения», где знакомство с низкой московской культурой происходит по причине того, что «няни и мамки» во время прогулок «не терпели одиночества», и мальчик

из этого общения с нищими и странниками, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах... преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше... и ради избавления которых от мук ада... [он] должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое [Пастернак 2003—2005: III, 296].

Однако, как нам представляется, постоянное и естественное соотнесение себя с Пушкиным не единственный жизнетворческий механизм, который мог сработать при изобретении этой истории. Так, Флейшман видит в письме к де Пруайяр отголоски знакомства с биографией предков поэта и, в частности, Леона Эбрео (Иегуды Абрабанеля), поэта и философа эпохи итальянского Возрождения, чей сын был насильно крещен в 1495 (по другим данным в 1497-м) году при португальском короле Мануэле I. Флейшман полагает, что гонения на португальских евреев в 1492 и 1496 годах могли ассоциативно связаться в сознании Пастернака с 1891 годом и указом о выселении евреев из Москвы, так же как в «Охранной грамоте» ясно проводится сопоставление ренессансной Венеции и футуристической Москвы (см.: [Флейшман 1977: 312—313]).

Хотя это предположение выглядит весьма соблазнительным, нам не кажется, что оно исчерпывает сюжет. Так, «футуристическая Москва» не то же самое, что Москва в 1890-х годах, а в письме нет никаких следов насильственности крещения. Более того, кажется, что в 1959 году для Пастернака были актуальны совсем иные инструменты построения автобиографического мифа, чем в конце 1920-х, в пору написания «Охранной грамоты».

Начиная по крайней мере с середины 1930-х годов, после первого съезда советских писателей, неудачной поездке в Париж на антифашистский конгресс писателей 1935 года, и особенно во время живаговского скандала и травли, в переписках поэта прослеживается сквозной мотив мученичества. К примеру, в письме к Федину 1936 года Пастернак пишет о травле фединского романа «Похищение Европы» в «Литературной газете»:

От этой боли мы ведь никуда не уйдем, друг мой. За что б ты ни взялся, всюду в твою волю художника вмешается твоя судьба, в мере, никому, кроме современников больших революций, неведомой, искусству почти непосильной и превращающей художника в мученика [Пастернак 2003—2005: IX, 69].

Свою поездку в Париж и Лондон в 1935 году поэт называет не иначе как «мученьем» [Там же: 38], равно как и весь период с мая по сентябрь 1935 года⁸. В 1940-х годах своеобразным рефреном становится соотношение литературного творчества и мученичества:

Я везде говорю, что плохи оригиналы, а переводчики и редактор *мученики*⁹ и герои [Там же: 466];

Ахматовой, как преимущественной *мученице* [Там же: 490]¹⁰;

Кроме того, если бы ты позволил, я *помучил* бы тебя чтением «продолжения» в течение часа-полтора. Я называю это *мучением* не из вежливости, увидишь, ты сам со мной потом согласишься¹¹;

Я верю в твою жизнь, бедная *мученица* моя и, помяни мое слово, ты еще увидишь!.. [Пастернак 2003—2005: IX, 596]¹²

К началу 1950-х откровенней становится тема собственного мученичества. В 1950 году в письме к Н. Табидзе Пастернак, комментируя подборку стихов Ахматовой о Сталине и тот факт, что «по аналогии все стали выжидающе оглядываться» [Там же: 605—607] в его сторону, пишет:

Я очень доволен своей судьбой, возможностью зарабатывать честным трудом, ясностью моего душевного состояния. Никогда я не считал себя в каком-нибудь смысле обиженным или обойденным. Если кто-нибудь думает, что я могу со стороны показаться «мучеником», то, во-первых, я не отвечаю за чужой бред или химеры, и, во-вторых, достаточно тем, кого интересует такая видимость, выпустить задержанные мои книги, а меня самого на эстраду, и это «подобие мученичества», не существующее для меня, отпадет само собой. Заявление же в «эфир» о том, что я не мученик, для меня немислимо, как предел идиотизма. Я человек очень гордый, но я должен был бы быть мелким завистником, хвастливым ничтожеством и молодым коммивояжером, чтобы верить по-журналистски и в самый эфир, и в какое-то его знание меня и существование для меня, когда по совести мне иногда бывает трудно поверить, что я интересую Вас или Зину. Кроме того, когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления [Там же: 605—607].

Несмотря на полемический характер пассажа, невозможно не заметить явного противоречия между его первым и последним предложениями. Ясно, что повышенная эмоциональность здесь во многом обусловлена нежеланием рав-

8 Из письма Пастернака Т. Табидзе от 6 сентября 1935 года: «Когда-нибудь я подробно расскажу Вам, что я вынес за эти 4 месяца, а пока ограничусь тем, что надо знать Вам одному, лично Вам. В течение этих мучений» [Пастернак 2003—2005: IX, 44].

9 Курсив здесь и далее в цитатах наш. — Г.К.

10 Здесь, смысл, конечно, не только «литературный», но имеется в виду в первую очередь постановление 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».

11 Речь идет о чтении главы «Прощание со старым» из «Доктора Живаго».

12 Письмо адресовано А.С. Эфрон, мученичество которой, конечно, лежит не в области литературы, однако Пастернак соотносит его с «даром какого-то магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств» [Пастернак 2003—2005: IX, 596], литературными качествами письма Эфрон и собственным романом.

няться с Ахматовой и ее мученичеством¹³, равно как и с другими знакомыми Пастернака. Так, всего через три года он будет писать А.С. Эфрон:

Никакие параллели между мною и тобою, между невольно бесплодным и безвредно-благополучным моим прозябанием и твоим святым мученичеством немислимы, и я их не провожу, но и для меня пока ничего не изменилось, время мое не наступило... [Там же: 734].

Таким образом, не претендуя «на святое мученичество», поэт тем не менее не отказывает себе в муках, хотя бы оттого, что «пока ничего не изменилось» в его писательской судьбе — учитывая надежды, связанные с уже произошедшей смертью Сталина.

Практически в то же самое время, через пару месяцев, сходный пассаж появляется в более личном контексте:

Немногие, имевшие со мною дело, — великодушные мученицы, так несносен и неинтересен я «как мужчина», так часто бываю непоправимо и необъяснимо слаб, так до сих пор не знаю себя и ничего не знаю с этой стороны. Может быть, трогает их то, что издали, издали дотащилось все же до них это с детства им посвященное и с детства болью за них поколебленное, надорванное существование, по дороге еще разбитое высокою войной, которую оно за них вело. И может быть, трогает их это, всегда близкая женщина по воспоминаниям ее собственного детства, странная, столькое в жизни охватившая и все же до сих пор оставшаяся чистота [Там же: 749].

Здесь уже очевидно, что собственная «чистота» сама сродни «мученичеству» окружающих женщин. В 1950-е Пастернак неоднократно будет писать о других «мучениках» (Т. Табидзе¹⁴, А. Суцквере¹⁵, Ж. де Пруайяр¹⁶ (думая, что она совершила попытку суицида), Л.А. Воскресенской¹⁷), реже о собственных «мучениях» («я подавлен мыслью о тех мучениях, которым в любую минуту готова меня подвергнуть моя нога, и о своей полной отрезанности из-за “занавеса”, по другую сторону которого такой праздник для меня в эти минуты, а ко мне

13 Позднее, по воспоминаниям Вольпина, Ахматова говорила: «Михаил Давидович, кто первый из нас написал революционную поэму? — Борис. Кто первый выступал на съезде с преданнейшей речью? — Борис. Кто первый сделал попытку восславить вождя? — Борис. Так за что же ему *мученический* венец?» — сказала она с завистью» [Анна Ахматова в записях Дувакина 1999: 259—260] (курсив наш. — Г.К.).

14 Из письма Пастернака Т. Табидзе от 11 декабря 1955 года: «Гугла напомнил, что 15-го годовщина мученической кончины Тициана, просил написать Вам» [Пастернак 2003—2005: X, 118].

15 Из письма Пастернака П.П. Сувчинскому от 24 июля 1958 года: «Я не помню, чтобы был знаком с [Суцквер]ом; напротив, у меня ощущение, что я хотел избежать этой встречи из-за страшного стыда, благоговения и ужаса перед этим мучеником, — и что это мне удалось» [Пастернак 2003—2005: X, 361].

16 Из письма Пастернака Э. Пельтье-Замойской от 10 мая 1959 года: «Я не могу представить себе, как могут относиться ее родители и муж к далекому и чужому человеку, бесчувственному и жестокому, который ничего не подозревает и в минуты самых острых страданий забрасывает несчастную мученицу своими запросами и поручениями» [Пастернак 2003—2005: X, 476].

17 Из письма Пастернака Л.А. Воскресенской от 2 декабря 1959 года: «Я Вам много написал тогда о бедной мученице Вас и о бедной Наташе» [Пастернак 2003—2005: X, 547].

ничто из этого не доходит» [Там же: X, 355], «ощущение грязи и оскорбления, того, что жизнь стала причиной постоянных, ежедневных мучений на все оставшееся время» [Там же: 442]). Обобщая, в 1955 году поэт писал:

А что наши годы наполнены были чудовищным и страшным и неисчислимыми примерами мученичества, я догадывался давно, и неспособность мириться с этим давно, около сорока лет тому назад, определила мою жизнь и связала мне руки... [Там же: 126].

Таким образом, при всей скромности оговорок Пастернака ясно, что тема мученичества, мученической жизни и смерти начиная с 1930-х годов постоянно волновала его. Понятно, что в какой-то степени идея, высказанная в стихотворении «Душа» 1956 года¹⁸, о том, что поэзия должна сохранить в себе муки современников, оплакать их, своеобразная попытка компенсировать внешнее «благоденствие», приняв на себя роль хранителя, — все это оказывается следствием обозначенного нами круга размышлений. Но роль хранителя, художника, преодолевающего ужас эпохи безвременья, неминуемо ведет к формированию собственной мученической миссии. По приведенным примерам, как кажется, видно, что Пастернак осознавал это, даже если не хотел вкушать из этой чаши.

К концу 1950-х, ко времени нобелевского скандала, ореол мученичества уже невозможно было бы отрицать, в глазах миллионов читателей романа это уже стало элементом биографии Пастернака. Приблизительно в то же время, как нам кажется, это оформилось и в конструкт построения автобиографического мифа. Так, знаменитейшее стихотворение «Нобелевская премия» ясно варьирует тему загнанности, затравленности художника («Я пропал, как зверь в загоне...» [Там же: II, 196]), как будто бы зеркально отражающую архетипический сюжет раннехристианской агиографии о мучениках на аренах римских цирков.

Знакомство с агиографической литературой или, по крайней мере, с ее расхожими сюжетами — стандартный элемент дореволюционного гимназического образования. Хотя Пастернак в гимназии был освобожден из-за еврейского происхождения от уроков закона Божьего, понятно, что житийная литература была ему неплохо известна. Доказательством тому может послужить не только очевидный пример «Сказки» из стихотворений Живаго, которую Пастернак прямо называл «Георгием Победоносцем» [Там же: IX, 760], но и подобные пассажи из переписок:

Дорогая Нина, Вы однажды спросили меня об одном собственном имени из Тицианова стихотворения, но, наверное, с тех пор Вы давно от других получили эти требующиеся справки. Если нет, для меня было бы счастьем, если бы все-таки в конце концов Вы это разъяснение получили от меня. Не было ли это имя Авиафар? Я на эти сведения напал сейчас случайно. Первыми обращенными к Христу святой Нино в 315 г. во Мцхете были еврейский раввин Авиафар и его семья. Его дочь Сидония была потом сподвижницей Нины, участницей совершенных ею чудес и проповедницей [Там же: X, 444].

18 Ср.: «Душа моя, печальница / О всех в кругу моем, / Ты стала усыпальницей / Замученных живьем. <...> Их муки совокупные / Тебя склонили ниц / <...>» [Пастернак 2003—2005: II, 150—151].

Сюжет о тайном крещении учителем/няней/кормилицей, против воли отца (матери, как правило, сами тайные христианки) достаточно характерен для житий раннехристианских святых. К примеру, святая великомученица Ирина была крещена наемным учителем Апелианом, великомученица Марина услышала Божье слово в юности от странника, великомученица Анастасия — от учителя Хрисогона. Кажется, что этот архетипический сюжет вполне мог послужить Пастернаку при изобретении его крестильной истории, если учесть обозначенный нами процесс постепенного проникновения «мученического» элемента сначала во внешнюю, биографическую мифологию поэта, а затем и в автобиографическую.

Отчасти аргументом в пользу этого предположения может послужить и тот факт, что уже упоминавшиеся нами упреки в непонятности, косноязычии, преследовавшие Пастернака большую часть его творческой жизни, как полагает К.М. Поливанов¹⁹, в какой-то момент приобрели общественно-политическое измерение и, более того, со временем оформились в обвинение в «юродстве»²⁰. Обвинение, которое, по мысли того же исследователя, оказалось в какой-то мере выгодным для Пастернака, оправдывавшегося сложностью и непонятностью собственной речи, отказываясь выступать в общественном поле²¹. Более того, к концу 1930-х годов, судя по многочисленным воспоминаниям²², Пастернак принял эту роль и в бытовой жизни.

Достаточно очевидно, как эта тенденция развивается и выражается в «Докторе Живаго» — последний этап жизни главного героя, его социальное падение отзывается своего рода подвижничеством. Однако, быть может, гораздо существеннее, что Юрий Живаго уже в одной из начальных сцен романа ока-

- 19 Доклад К.М. Поливанова «Литературная и жизненная стратегия Б. Пастернака в восприятии современников», сделанный 27 февраля 2022 года в рамках международного конгресса «Семиосфера Лотмана».
- 20 См., к примеру, стенографию выступления Дж. Алтаузена на Пушкинском пленуме 1937 года: «...не будем *юродствующему* поэту объяснять, что только при социализме поэзия становится подлинным достоянием народных масс, понятной и любимой миллионами» (*Алтаузен Дж.* Не отставать от жизни: из речи на IV (Пушкинском) пленуме правления Союза писателей // Литературная газета. 1937. № 11 (647). 26 февраля. С. 5); доклад М.К. Луконина на собрании поэтической секции Союза писателей: «Всю жизнь он был свиньей под дубом. Буржуазные эстеты и безродные космополиты на все лады прославляли *юродивое* и ленивое творчество Пастернака только потому, что он щекотал их антипатриотические чувства, капая елей на их колениопреклоненные перед Западом души» (*Луконин М.* Проблемы советской поэзии (Итоги 1948 года) // «Звезда». 1949. № 3. С. 181—199) или статью Н. Изгоева в журнале «Октябрь»: «Он стоит на юру нашей литературы» (*Изгоев Н.* Борис Пастернак // Октябрь. 1937. № 5. С. 251—252; курсив наш. — Г.К.)
- 21 К примеру: «Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошенически и подложно, он кричал: “Когда кончится это толстовское юродство?”» [Пастернак 2003—2005: IX, 266].
- 22 См., к примеру, записи из дневника А.Н. Афиногенова, соседа по Переделкину, о Пастернаке от 24 сентября 1937 года: «...полная отрешенность от материальных забот. Желание жить только искусством. <...> ...штаны были проданы на коленке... <...> ...ему бы поскорее к письменному столу, за лист бумаги, сесть и писать, писать и думать, и разговаривать с собой. <...> Жена уже отказывалась чинить ему штаны, они разлезались под иголкой, но нет-нет, он не хотел с ними расставаться, еще можно носить... ему нравятся эти серые, мятые, но чистые в заплатах брюки — он не дает жене употребить их на тряпку» [Воспоминания о Борисе Пастернаке 1993: 381].

зывается уподоблен Андрею Юродивому с его видением Покрова Богородицы, что отмечают и комментаторы (см.: [Там же: IV, 658]). Таким образом, кажется логичным предположить, что и сделал в своем докладе исследователь, что созвучие «юродства», «юродивого», «стояния на юру» с именем главного героя и локусом Юратин — не случайно.

Так или иначе, непонятность как бытового, так и художественного языка Пастернака, глубоко волновавшая поэта как в конце 1920-х годов, когда он попытался перейти на язык «неслыханной простоты» [Там же: II, 58], так и в конце 1956 года, когда он писал, что «не любил свой стиль до 1940 года» [Там же: III, 327] — очевидные следствия внутренней борьбы между желанием «быть все же равным себе самому, быть собой» [Там же: V, 621] и сменяющимися друг друга идеями «писать живо, по-советски» [Там же: IX, 15] и быть «заложником вечности» [Там же: II, 168]. Ясно, что в какой-то момент под воздействием внешних, общественно-политических причин, все еще желая оставаться понятным для читателей, Пастернак уже не хотел быть понятным для чиновников и «товарищей по цеху», оставаясь «заложником вечности», в полной мере ощутил себя «у времени в плену». Наряду с известным равнодушием к условиям бытовой жизни (если не сознательной установкой на пренебрежение «материальным») — в этой стратегии поведения угадывается метание между базовыми для русской культуры моделями пушкинского и лермонтовского «пророков», между желанием «глаголом жечь сердца людей» [Пушкин 1977: 304] и непониманием окружающих, ведущим к своеобразному «опрощению» и отшельничеству.

И в том, и в другом случае, если учесть, что «пророчество» состоит в «повновому понятию христианстве» [Пастернак 2003—2005: IV, 67], поэт оказывается, как в чужих глазах, так, видимо, отчасти и в собственных, в положении то ли пророка, то ли непонятого мученика и, на стыке этих понятий, юродивого. Кажется, что если хотя бы отчасти принять эту логику, то возможным объяснением возникновения сюжета о «тайном крещении» в детстве окажется именно ориентация на агиографическую литературу — своеобразная попытка дополнить собственное «житие» формально необходимым элементом.

Разумеется, дать однозначный ответ, был ли Пастернак крещен, едва ли возможно. Однако мы надеемся, что представленные соображения склоняют чашу весов в сторону наиболее очевидного ответа на этот вопрос, решения загадки, которое было предъявлено самим поэтом и процитировано нами в самом начале нашего «детektива»: «...“мнение” о Святом Духе ничего не стоит по сравнению с его собственным присутствием в произведении искусства, с чего начинается великое и чудесное» [Там же: X, 472]. Заметим, что тот же принцип отражен и в романе — крещение не приносит Гордону «чувства высшей и краеугольной беззаботности» [Там же: IV, 15]. Очевидно, что в системе философских представлений поэта об искусстве и жизни даже важнейшее церковное таинство — скорее внешняя, метафорическая форма, в которую отливается внутреннее содержание, «сила» [Там же: III, 186—187], связующая человека / лирического героя / читателя с христианской вечностью.

Библиография / References

- [Анна Ахматова в записях Дувакина 1999] — Анна Ахматова в записях Дувакина / Вступ. ст., сост. и коммент. О.С. Фигурновой. М.: Наталис, 1999.
- (Anna Akhmatova v zapisyakh Duvakina / Introd., comp. and comment. by O.S. Figurnova. Moscow, 1999.)
- [Борис Пастернак в письмах 2021] — Борис Пастернак в письмах, дневниках и воспоминаниях современников / Сост. А.Ю. Сергеева-Клятис. М.: Новый хронограф, 2021.
- (Boris Pasternak v pis'makh, dnevnikakh i vospominaniyakh sovremennikov / Comp. by A.Ju. Sergeeva-Kljatis. Moscow, 2021.)
- [Быков 2018] — *Быков Д.Л.* Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2018.
- (Bykov D.L. Boris Pasternak. Moscow, 2018.)
- [Воспоминания о Борисе Пастернаке 1993] — Воспоминания о Борисе Пастернаке / Сост. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг. М.: Слово, 1993.
- (Vospominaniya o Borise Pasternake / Comp. by E.V. Pasternak, M.I. Fejnberg. Moscow, 1993.)
- [Крашенинникова 1997] — *Крашенинникова Е.Н.* Крупицы о Пастернаке // Новый мир. 1997. № 1. С. 204—213.
- (Krashennnikova E.N. Krupitsy o Pasternake // Novyy mir. 1997. № 1. P. 204—213.)
- [Пастернак 2003—2005] — *Пастернак Б.Л.* Полное собрание сочинений: В 11 т. / Сост. и коммент. Е.Б. Пастернак, Е.В. Пастернак. М.: Слово, 2003—2005.
- (Pasternak B.L. Polnoe sobranie sochineniy: In 11 vols. / Comp. and comment. by E.V. Pasternak, E.V. Pasternak. Moscow, 2003—2005.)
- [Пастернак 1993] — *Пастернак З.Н.* Воспоминания // Пастернак Б. Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак. Пастернак З.Н. Воспоминания / Сост. М. Фейнберг, Н. Пастернак. М.: ГРИТ, 1993. С. 235—426.
- (Pasternak Z.N. Vospominaniya // Pasternak B. Vtoroe rozhdenie. Pis'ma k Z.N. Pasternak. Pasternak Z.N. Vospominaniya / Comp. by M. Fejnberg, N. Pasternak. Moscow, 1993. P. 235—426.)
- [Пастернак 2013] — *Пастернак Ж.Л.* Письмо С.П. Боброву, 30 декабря 1967 г. // Пастернаковский сборник: Статьи, публикации и воспоминания. М.: РГГУ, 2013. Вып. 2. С. 213—215.
- (Pasternak Zh.L. Pis'mo S.P. Bobrovu, 30 dekabrya 1967 g. // Pasternakovskiy sbornik: Stat'i, publikatsii i vospominaniya. Moscow, 2013. Iss. 2. P. 213—215.)
- [Переписка Бориса Пастернака... 1997] — Переписка Бориса Пастернака с Элен Пельтье-Замойской / Пер. Е.Б. Пастернак; предисл. и коммент. Е.В. Пастернак // Знамя. 1997. № 1. С. 107—143.
- (Perepiska Borisa Pasternaka s Elen Pel't'e-Zamoyskoy / Forew. and comment. by E.V. Pasternak // Znamya. 1997. № 1. P. 107—143.)
- [Письма Бориса Пастернака... 1990] — Письма Бориса Пастернака из Марбурга / Вступ. ст., примеч. и публ. Е.В. Пастернак, К.М. Поливанова // Памятники культуры. Новые находки. 1989 / Сост. Т.Б. Князевская. М.: Наука, 1990. С. 51—75.
- (Pis'ma Borisa Pasternaka iz Marburga / Introd., comment. and publ. by E.V. Pasternak, K.M. Polivanov // Pamyatniki kul'tury. Novye nakhodki. 1989 / Comp. by T.B. Knjazevskaja. Moscow, 1990. P. 51—75.)
- [Пушкин 1977] — *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 2: Стихотворения 1820 (юг) — 1826 / Ред. и примеч. Б.В. Томашевский. Л.: Наука, 1977.
- (Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochineniy: In 10 vols. / Ed. and comment. by B.V. Tomashevskiy. Leningrad, 1977.)
- [Сергеева-Клятис 2015] — *Сергеева-Клятис А.Ю.* Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2015.
- (Sergeeva-Kljatis A.Ju. Pasternak. Moscow, 2015.)
- [Торопова 2017] — *Торопова В.Н.* От составителя // Няня. Кто нянчил русских гениев / Сост., подгот. текстов, коммент., биогр. справки В.Н. Тороповой. М.: Никея, 2017. С. 10—14.
- (Toropova V.N. Ot sostavitelya // Nyanya. Kto nyanchil russkikh geniev / Comp., prep., comment., biogr. ref. by V.N. Toropova. Moscow, 2017. P. 10—14.)
- [Флейшман 1977] — *Флейшман Л.С.* К публикации письма Л.О. Пастернака к Бялику // Slavica Hierosolymitana. 1977. Vol. I. P. 309—317.
- (Fleishman L.S. K publikatsii pis'ma L.O. Pasternaka k Byaliku // Slavica Hierosolymitana. 1977. Vol. I. P. 309—317.)
- [Barnes 2004] — *Barnes C.* Boris Pasternak: a literary biography. Vol. 1. 1890—1928. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.